

Литрес ≡ Классика

Лев Толстой

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ



Лев Толстой

Семейное счастье

«ЛитРес»

1859

Толстой Л. Н.

Семейное счастье / Л. Н. Толстой — «ЛитРес», 1859

Молодая девушка Маша, потеряв родителей, живёт уединённо в деревне. В её жизнь входит друг покойного отца – зрелый и рассудительный Сергей Михайлович. вспыхнувшее между ними чувство приводит к браку, но после свадьбы героиня начинает задаваться вопросом, в чём заключается подлинное счастье – в тихой семейной идиллии или в блеске светской жизни. Это тонкая психологическая повесть о том, как мечты о любви сталкиваются с реальностью, а первая пылкость чувств уступает место иному, более сложному пониманию счастья.

© Толстой Л. Н., 1859

© ЛитРес, 1859

Содержание

I	6
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Лев Николаевич Толстой

Семейное счастье

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

I



Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платье. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамы была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мама хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а

вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилося: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на «зачем» не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желанья выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась, во что бы то ни стало, везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела. В марте приехал опекун.

– Ну слава Богу! – сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что из всех знакомых мне бы больше всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамыши запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет, и он говорил мне ты, играл со мной и прозвал меня девочка-фиалка, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, заслышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

– Ах! неужели это вы? – сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. – Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот-те и фиалка! Вы целой розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку, и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменялся; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

– Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! – сказал он, останавливаясь.

– Да, – сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

– Вы, я думаю, помните вашего отца? – обратился он ко мне.

– Мало, – отвечала я.

– А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! – проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. – Я очень любил вашего отца! – прибавил он еще тише и мне показалось, что глаза его стали блестящие.

– А тут ее Бог взял! – проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

– Да, страшные перемены в этом доме, – повторил он, отвернувшись. – Соня, покажи игрушки, – прибавил он через несколько времени и вышел в залу.

Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

– Это такой славный друг! – сказала она.

И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

– Марья Александровна! – послышался его голос. – Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

– Вот это сыграйте, – сказал он, раскрывая тетрадь Бетговена на адажио сонаты *quasi una fantasia*¹. – Посмотрим, как-то вы играете, – прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но скерцо он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, – сказал он, подходя ко мне, – это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он спрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с

¹ в форме фантазии.

ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

– Самого-то главного она и не рассказала мне, – сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

– Что ж рассказывать! – сказала я: – это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.)

– Это нехорошо не уметь переносить одиночества, – сказал он: – неужели вы барышня?

– Разумеется, барышня, – отвечала я, смеясь.

– Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; всё только для показу, а для себя ничего.

– Хорошего вы мнения обо мне, – сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет! – проговорил он, помолчав немного: – не даром вы похожи на вашего отца. В вас есть, – и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня. Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд, сначала ясный, а потом всё более и более внимательный и несколько грустный.

– Вам не должно и нельзя скучать, – сказал он: – у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мною. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим. Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

– Ну, прощайте, любезные друзья, – сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

– Когда же увидимся опять? – спросила Катя.

– Весной, – отвечал он, продолжая держать меня за руку: – теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву уж по своим делам, а лето будем видеться.

– Ну что ж это вы так надолго? – сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

– Да; побольше занимайтесь, не хандрите, – сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. – А весной я вас проэкзаменую, – прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! – подумала я. – Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только».

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и всё говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнился жизнью и светом.

II

Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все Петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло-вычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидела его.

– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она, – а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

– Ну, что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.

– Чем же это дурно! – прокричал он мне вслед, – точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну, слава Богу, что он приехал, веселей будет!» И посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу.

– Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, – сказала Катя, – а то мы одни как в лесу там будем.

– Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, – сказал он полушутя, полусерьезно.

– Так что ж, – сказала я, – поедемте вокруг света.

Он улыбнулся и покачал головой.

– А матушка? А дела? – сказал он. – Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему всё, что я делала хорошего, и признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

– Как я люблю ваше Покровское, – сказал он, прерывая разговор. – Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.